

Александр Грин

Волчок



Александр Степанович Грин

Волчок

Аннотация

«На все вопросы, которые задавал мне неприятельский офицер, я отзывался незнанием или нежеланием отвечать, особенно напирая на то, что я русский.

Этим я хотел воздействовать на его разум, предоставляя ему воображать себя на моем месте и, следовательно, признать бесспорное право национальности охранять ее общие интересы молчанием. Делая вид, что не понимает столь простой вещи, офицер старательно угрожал мне расстрелом, если я буду упорствовать в отнекивании. Его лицо намеренно оставалось неподвижным, дабы вся сила моего внимания была направлена к точному смыслу угроз, не задерживаясь естественной в каждом разговоре мимикой лица, могущей, помимо воли офицера, создать обнадеживающее впечатление и тем самым оставить то, что я знал, – при мне. Даже голос допросчика звучал, так сказать, по одной линии, одним тоном, в котором ясно чувствовались знаки препинания, обезличивающие произносимое...»

Александр Грин

Волчок

*Свирепые голоса вопили у дверей, чтобы им
отдали добычу.
Ламартин*

На все вопросы, которые задавал мне неприятельский офицер, я отзывался незнанием или нежеланием отвечать, особенно напирая на то, что я русский.

Этим я хотел воздействовать на его разум, предоставляя ему воображать себя на моем месте и, следовательно, признать бесспорное право национальности охранять ее общие интересы молчанием. Делая вид, что не понимает столь простой вещи, офицер старательно угрожал мне расстрелом, если я буду упорствовать в отнекивании. Его лицо намеренно оставалось неподвижным, дабы вся сила моего внимания была направлена к точному смыслу угроз, не задерживаясь естественной в каждом разговоре мимикой лица, могущей, помимо воли офицера, создать обнадеживающее впечатление и тем самым оставить то, что я знал, — при мне. Даже голос допросчика звучал, так сказать, по одной линии, одним тоном, в котором ясно чувствовались знаки препинания, обезличивающие произносимое.

Я хорошо понимал эту игру. Я говорил и держался так же, как офицер. Я смотрел прямо в его скупом мигающие глаза,

отвечая на все вопросы самым невыразительным тоном:

– Не знаю... не имею понятия... нет... не скажу.

Остальные германцы, наполнявшие комнату плотной массой здоровых прямых тел, следили за нашей игрой с того рода молчаливой развязностью, какая свойственна умелым, но бездействующим шахматистам, сидящим вокруг занятой другими игроками доски ради удовлетворения спортивного любопытства.

Все они улыбались. В позах их не чувствовалось, как в моей и допросчика, ни малейшего напряжения; они свободно дышали, меняя положение рук и ног, с отвратительной беспричастностью к моему состоянию.

Я отмечаю это как следствие слабо развитого воображения их, – так как даже поверхностное постижение тягости смертной казни в присутствии человека, на нее обреченного, совершенно не допускает улыбки.

Отчасти я, вероятно, сам помогал этой психологической близорукости, будучи внешне равнодушен к своей судьбе; волнение, выраженное слезами и криком, может быть, расшевелило бы скупые нервы этих людей, хотя бы в смысле ускорения неизбежной развязки. Теперь же, привыкшие к сценам допроса и казни, офицеры видели в происходящем известное бытовое явление, названное войною.

Допросчик был смуглый брюнет, с широкими, несколько сведенными спереди плечами и толстыми коленями больших ног, плотно упирающихся в пол. Он держал руки в кар-

манах. Бритое большое лицо с вертикальной складкой над переносьем и ясными, устало прищуренными глазами являло выражение непреклонности. Я понимал это выражение как смертный приговор. Я заранее покорялся ему, предвидя, что, сохранив честь, – понятие, давно утрачено слабыми людьми с широкой натурой, – приобрету тем уважение друзей и отечества. Отечество в эту войну перестало быть для меня отвлеченным понятием: я увидел, что оно состоит из людей, доступных гневу, скорби, жалости и восторгу. Я хотел сохранить уважение этих людей и не противился неизбежному.

Все мы находились в столовой моей квартиры. На буфетной доске валялась забытая детьми игрушка – стальной волчок, состоявший из стержня, пропущенного в подвижное колесо, и обладавший большой длительностью вращения. Он приводился в действие посредством длинной бечевки, наматываемой на трубочку колеса. Старик-офицер с нафабранными усами и лукаво подвижным взглядом, взяв в руки волчок, небрежно трогал колесо пальцем, извлекая жужжащий звук, напоминающий полет мухи. В это время я произнес уже последнее «нет» на последний вопрос допросчика, и комната погрузилась в молчание.

– Вас сейчас расстреляют, – медленно, с очевидной целью произвести впечатление, сказал допросчик и повернулся к двери, крикнув, чтобы позвали солдат.

В этот момент напряжение мое достигло такой силы, что я

несколько секунд плохо различал окружающее, как бы смотря вокруг сквозь матовое стекло. Удары сердца были часты и слабы.

Пересилив предсмертное волнение, я оказался твердо стоящим на ногах и твердо смотрящим на своих палачей, но в состоянии ошеломленности, ибо мозг, повинувшись инстинкту самосохранения, отказывался еще приурочить к себе близость насильственного конца.

Когда появились солдаты, я содрогнулся, почувствовав естественный ужас, неопиcуемый по существу и невыразимо мучительный. Воля, однако, не изменила мне, и я не сделал ни одного движения, выражающего страдания.

Страдание это, однако, в силу большой, стремительной живости воображения, которое доставляло мне, даже в спокойные моменты жизни, немало мелких предвосхищений будущего и ярких повторений прошлого, было неизмеримым числом раз значительнее впечатления от настоящих строк, что пишутся мною спокойно, как бы не о себе. Сцена расстрела, со всеми ее подробностями, пережила мною с быстротой вдоха. Я осязал свои шаги по зеленой траве сада, видел себя стоящим у стены каменного сарая и преодолевал уже мысленно зловещую, как набат, тяжесть последнего ожидания, тоску готового полыхнуть залпа, после чего наступает таинственное ничто, в то время, как нечто – труп, залитый фыркающей из сердца и головы кровью, – лежит на земле, шевелясь в жалких конвульсиях.

Мое здоровое молодое тело, проникаясь предвосхищением смерти, отталкивало ее каждым движением пульса. Солдат положил мне на плечо руку, кивнув головой в сторону двери; угрюмое любопытство читалось на его лице, обведенном ремешком каски.

– Вальфельд! – сказал старик, вертевший в руках волчок, – Скажите, чтобы обождали с расстрелом. Я хочу сделать вам некое предложение.

Допросчик, он же начальник отряда, занявшего наше местечко, неохотно подошел к офицеру.

Я различил тихий шепот, столь тихий, что он скрадывал все слова. Напряженно следя за выражением двух лиц, изредка посматривающих на меня невинно скольльзящим взглядом, без труда догадался, что неприятели вознамерились вновь попытать счастья, употребив в отношении меня нечто, пока мне еще не известное. О таком намерении говорило движение пальца старика, чертившего буфетной доске какой-то воображаемый план. Этот топографический интерес беседы, в связи с отсрочкой расстрела убедил меня в наличии нового покушения на мою стойкость – и я не ошибся.

За время этих испытаний я чистосердечно радовался тому, что жена и дети в отсутствии. Они выехали заблаговременно на Т. П., далекие о мысли, что я могу задержаться. Однако мои служебные обязательства потребовали остаться на три дня сверх срока, и это совпало с появлением пруссаков. Я говорю, что радовался отсутствию близких. Конечно,

отчаяние жены и бледность ее лица не поколебали бы моей твердости, но мучения вдвоем тягостнее и нестерпимее, чем переносимые в одиночестве кем-либо из двух, при уверенности, что второе лицо спокойно в своем незнании. Это мрачное утешение осенило меня теперь, в то время как Вальфельд подходил ко мне, держа в руке волчок, взятый у старика.

Вальфельд улыбался иронически и многозначительно, как человек, принявший некое эксцентрическое решение – важное, и в то же время сомнительное по результату.

Он сказал, глядя то на меня, то на присутствующих:

– Я предлагаю вам подумать еще раз. Пустите этот волчок. Время, пока он вертится, будет окончательным сроком вашего размышления. Это льгота, нам ничего не стоило бы расстрелять вас немедленно. Итак, воспользуйтесь льготой, одумайтесь! Если волчок упадет, а вы останетесь немые, пеняйте тогда лишь на себя.

Я медлил отвечать, соображая, не кроется ли за этой выдумкой какого-нибудь подвоха; однако, взвешивая весь смысл предложение Вальфельда, нашел в нем лишь попытку психологического воздействия, рассчитанную на созерцание вращающегося волчка, который, находясь в действии, как бы олицетворял мою собственную жизнь, сокращающуюся с каждым оборотом стальной оси. Самая отсрочка казни, столь краткая, не представляла для меня ничего утешительного. Так как, твердо решив не выдавать военных секретов,

я тем самым обрекал себя на смерть, безразлично – сейчас или через две-три минуты, когда волчок, потеряв инерцию, останется лежать на боку, а я буду отведен в сад, под ружья германцев. Но, бессильный убить надежду хотя бы на чудо, так как из обширного человеческого опыта знал, что бывали примеры, когда в несколько секунд изменялись положения более безнадежные, чем мое, – я не нашел в себе силы отказаться от выдумки офицера. Я молча кивнул головой, подошел к окну, сорвал шнурок занавески и, по привычке своей делать все тщательно и как можно лучше, решил получить максимум времени, остававшегося мне благодаря затее с волчком. Поэтому, двигался я неторопливо, иногда останавливаясь на секунду, как бы задумавшись. С целью придать волчку наибольшую длительность вращения, я методично, плотно наматывал шнурок, стараясь, чтобы каждый его ряд занимал как можно менее места, дабы при разворачивании не потерять ни малейшей силы упора; шнурок, накрученный таким образом, лежал на волчке четырьмя ровными слоями колец, твердых и правильных, как катушка. Сделав это, позаботился об уменьшении трения. Я взял чайный стакан с гладким, хорошо отполированным дном, опрокинул его на стол, левой рукой сжал волчок, а правой – свободный конец шнура, и приготовился к действию.

Вы, люди, прожившие всю жизнь, не подвергаясь смертельной опасности, – должны, не осуждая меня за столь внимательное отношение в этом рассказе к подробностям обра-

щения с волчком, вообразить себя на моем месте с тем масштабом времени, с каким осужден был я измерять ничтожный остаток жизни. Я, положительно, входил в подробности каждой минуты и даже секунды с не меньшей серьезностью и значительностью оценки их, чем в прежнее время – в события месяцев, годов и недель. Моя жизнь сосредоточилась в волчке, и я растягивал ее, насколько то было возможно, с целью дать совершиться чуду, если бы оно снизошло ко мне. Позже я убедился, что все чудеса – в нас, пока же, движимый борьбой надежды с отчаянием, я приготавливался пустить волчок. Офицеры, сидя на стульях, с сигарами в зубах, молча наблюдали меня, изредка бросая фразы вполголоса; обостренный слух мой отлично улавливал смысл говоримого.

– Он струсил, – сказал один.

– Он колеблется, – согласился другой.

– Он что-то задумал, – ввернул третий.

Все они ошибались. Я не трусил, не колебался и не задумывал; я положился на милость судьбы.

– Раз, два, три! – сказал я с некоторым задором. – Вот ваш психологический эксперимент, господин Вальфельд, – он вертится! – и я, напружив мускулы, сдернул шнурок со всей возможной для меня силой.

При этом волчок едва не вырвался из руки; через мгновение он совершенно прямо, подобно пламени свечи в тихом воздухе, стоял на стакане, обманчиво неподвижный, ибо

быстрота вращения была неуловима для глаз. Он не качался, не вздрагивал, не менял места на дне стакана, центробежная сила удерживала его в одной точке. Со временем эта сила должна была ослабеть, лишив волчок равновесия; пока же, находясь в зените, действовала прекрасно. Я, отступив немного назад, смотрел на эту игру смерти, принявшей образ волчка, с того рода спокойствием, какое является, надо думать, следствием утомления чувств.

Через окно, просвечивая в стакан и образуя подле него овальное светлое пятно, струились предвечерние лучи солнца.

Внимательно следя за волчком, я заметил в стороне от него как бы сверкающее сгущение воздуха. Оно расширилось, принимая форму детского лица, а затем всей фигуры ребенка, девочки восьми лет, в которой, ничем не обнаружив своего волнения, я узнал младшую свою дочь. Непривычный к галлюцинациям, я, однако, сообразил причину этого явления, так как волчок был любимой игрушкой ребенка, и я часто забавлял ее, доставляя невинный восторг, нам уже недоступный.

Призрак не исчезал. Он усердно тряс маленькой курчавой головкой, тянулся к волчку и заливался беззвучным смехом, тем самым, каким я любовался так много счастливых раз в минуты вечернего отдыха. Я оглянулся. Я хотел жить и, осматриваясь, изыскивал к этому способы, хотя бы и безумные. Когда я снова посмотрел на стол, видения уже не было,

но вся тоска, пришедшая с ним, тоска по семье и жизни привела меня в состояние ярости – гнева, способного бросить безоружного на штыки. Окно было открыто. Под ним сиял сад, в дальнем конце которого стоял каменный сарай. Сбоку, почти рядом со мной стоял офицер, выдвинувшись несколько вперед меня. От моей руки до кобуры его револьвера было не более фута.

Зная, что меня все равно убьют, я не колебался более, но и не торопился. Волчок, лишь вздрагивая слегка, обещал мне еще минуту нужного времени. Я приблизил к кобуре руку, не меняя направления взгляда, устремленного на волчок, и отстегнул ее с воздушностью прикосновений карманника; затем, действуя с невероятной быстротой мысли, отчетливо, как на счетах, подсказывавшей мне движения, зоркость их, их экономию, – расчет и точность, – бросился очертя голову во внезапно наступивший вихрь выстрелов, суматохи, вскриков, шума и ярости.

Волчок, жалобно зазвенев о стакан, свалился на стол, а затем на пол. Одновременно с его падением я вырвал из кобуры револьвер под судорожно хлопнувшей о бок офицерской рукой и выстрелил прусаку в голову. Он, отскочив, упал. Следующий выстрел я пустил в сомкнувшийся впереди меня полукруг лиц, вспыхнувших от неожиданности, подобно пороху на костре; затем, отбежав к окну, третьим выстрелом повалил Вальфельда, сабля которого уже рассекала воздух над моей головой. Стол, опрокинутый людьми, бросив-

шимися ко мне по прямой линии, с грохотом пополз к окну и образовал собою как бы мгновенный барьер – заграждение на момент, коего мне было, однако, совершенно довольно, чтобы прыгнуть со второго этажа вниз, не будучи схваченным. Когда я прыгал, на шею мне упали осколки верхнего стекла, раздробленного одной из пуль, пущенных сзади. Я спрыгнул благополучно в траву, присел от толчка, но не упал и, делая на бегу скачки то в одну, то в другую сторону, скрылся в деревьях.

Признаюсь, совершая эти безумные поступки, могущие причинить мне, в конце концов, еще более мучительную и жестокую смерть, чем расстрел, я действовал без всякого определенного плана, мною двигал инстинкт самосохранения, окрашенный гневом и возмущением. Я бил, так сказать, стену лбом и ничего более. Повязка ужаса с утра стягивала мое сознание, и я пытался сорвать ее, хотя бы на мгновение, действиями более отчаянными, чем решительными. Втайне я чувствовал, конечно, всю шаткость своего положения, но находил спасительное рассеяние в стремительной вакханалии этих секунд – свалки, прыжка и бегства.

Сравнительно невысокий забор я мог перескочить быстро, но, благодаря остатку сообразительности, не сделал так: на улице меня схватили бы многочисленные встречные патрули и погоня сзади.

Я помчался к сараю: он был разделен внутренними каменными перегородками на три полутемных помещения; един-

ственным их освещением служили узкие отверстия в задней стене, на высоте глаза, устроенные более для проветривания. Здесь хранились фрукты, садовые инструменты; в третьем отделении стояла часть мебели, не поместившейся в нашей квартире. Двери сарая, обысканного еще утром солдатами, были не заперты.

Я забежал туда, где стояла мебель, и, тотчас же навалившись всем телом на дверь, открывавшуюся внутрь, завалил ее громоздкими старыми креслами, табуретами, комодом, платяным шкафом и всем, что было в сарае.

Крики и бешеный стук прикладов о дверь сливались с поднятым мной грохотом разворошенной мебели в истинные раскаты грома. Мои силы учетверились. Я проделал операцию укрепления двери с быстротой гиганта, которому моя мебель показалась бы, конечно, игрушечной. Укрепив дверь, я схватил валявшуюся в углу жестяную лейку, разорвал ее руками и вбил с помощью кирки кусок жести в отверстие задней стены, дабы сквозь него не влетела пуля.

Стало совсем темно. Остановившись, наконец, я заметил, что весь дрожу, трясусь, как если бы стоял на телеге, прыгающей по камням. То было следствие не страха, а потрясения и даже неистовства, вынужденного оставаться пассивным. Среди множества голосов, кричавших снаружи, я различил новые звуки – треск стали, и понял, что это – движение ружейных затворов. Несколько залпов неизбежно должны были разбить дверь. Я отошел дальний угол.

В этот момент, позади двери как бы раскололось огромное полено, и щепки, выбитые из мебели, разбитой залпом, брызнули мне в лицо.

Я приготовился к схватке, судорожно перекидывая револьвер из руки в руку. Здесь память меня оставила, и я ушел во тьму и тишину обморока, поборовшего, наконец, как ни прискорбно сознавать это, нервную силу...

Впоследствии я узнал, что к местечку подошел русский отряд и неприятель покинул меня за моей баррикадой, сочтя отступление более важным делом, чем убийство мирного жителя, борющегося за жизнь.

Мне кажется, что эту жизнь я получил не совсем даром. Но я перестал улыбаться.